

«Седьмого января 1926 года в столице Каталонии царила радостная суматоха. Взрослые и малыши, студенты и влюблённые, даже улицы и здания города восторженно приветствовали новичка — трамвай. . .»

— Мам, смотри что показывают! Ты когда-нибудь такое видела? — удивлённо спрашивает Арман.

— Да, конечно, сынок, но сейчас не до этого, выключи телевизор и займись уроками, быстро! — одёргиваю я, после чего перехожу на кухню и открываю кран.

Перебив посуду, поворачиваюсь и замечаю, что желтолицая тарелка-сиротка забыта в углу обеденного стола.

Мокрые кончики пальцев касаются керамической тарелочки цвета солнца. На полпути к мойке от неожиданного телефонного звонка приютившееся в моей ладони блюдце переживает взлёт и падение, разделяясь на большие и маленькие кусочки.

Тщедушный семилетний мальчик, шуплый и выглядящий старше своих лет, поднял с пола цветные кусочки разбившейся тарелки, спрятал их в карманах брюк, более крупные осколки собрал в ладонь и, заметив, что матери нет поблизости, прерывисто дыша, робея, вышел из дома, пошёл в сторону отцовской кузницы, затем, осторожно пройдя мимо двери, незаметно забрался в заднюю часть мастерской.

Цветные осколки керамики так увлекли молчаливого и почти ничему не радующегося мальчика, что он то показывал извлечённые из кармана кусочки солнцу, то прикладывал к стене.

— Ты изменишь цвет своего города, сынок!

Застигнутый врасплох мальчик обернулся, думая, что это отец, но вскрикнул от удивления.

Доктор послушал лёгкие мальчика, сердце, проверил зрачки. Убедившись, что ничего особенного нет, посоветовал родителям держать ребёнка подальше от прямых солнечных лучей, чтобы избежать очередного обморока и приближения неизбежного случая.

Родители, подобно бледным тающим свечам, упали друг на друга, и намёк доктора мгновенно стал понятен и маленькому Антонио.

На следующий день, рано утром, Антонио всыпал в котомку семнадцать керамических осколков, вышел из дома с «Отче наш», приглушая боль в суставах молитвой, которой научила мать, и еле дошёл до склона высокой горы, той самой, где длиннотелые облака набрасывали свои белые вуали на напоминающие истуканов выступы.

Пока Антонио рассматривал извлечённые из котомки осколки и, пересчитывая их, осторожно раскладывал на земле, рядом с мальчиком появился плечистый и кудрявый мужчина с пучком перьев в руке.

— На этот раз, прошу, не пугайся меня, хорошо?

Мальчик, слегка сжавшись, кивнул:

— Хорошо.

— Я Дал, помнишь, нет? В задней части кузницы твоего отца. . .

— Да. Но кто ты и почему следишь за мной? — маскируя страх гневом, ответил Антонио.

— Ничего подобного. Просто я живу в кузнице твоего отца, а здесь мой омфал, я часто сюда прихожу, давно уже тебя знаю, решил наконец познакомиться, а ты испугался, сынок. Я занимаюсь ремёслами, изобретаю инструменты, создаю и творю всё, что захочу.

— Всё, что захочешь? А что ты сделаешь из перьев?

— Крылья.

— На них можно будет летать? Если не умру, надо будет попробовать.

Щёки и уши мальчика стали цвета розы, глаза увлажнились.

— Я подарю тебе. Доктор — дурак, ты бессмертен, понял? — отечески ободрил Дал, затем добавил: — А ну сядь поближе, скажу, с чего начать.

Звонившим по телефону оказался записанный женский голос, который сообщал, что из-за аварии сутки не будет воды. Не только вода, но и привезённая из Испании моей светлой памяти бабкой и доставшаяся мне в подарок тарелка попала в аварию.

Школьная тетрадь Армана, раскинув пустые строки, растянулась на столе, я ищу тему сценария

для короткометражного фильма. Размазывая по губам красный цвет, готовлюсь выйти в магазин и требую, чтобы сын немедленно занялся уроками. Хочу добавить, что иначе он «получит „попавшую под трамвай“ тройку», но тут же вспоминаю, что это выражение отныне потеряло свою актуальность.

Чтобы добраться до магазина, я вынуждена подняться на двадцать метров выше нашего здания, добраться до «трамвайного круга», а затем, уже с покупками, кряхтя, спуститься вниз.

Это был 2003-й или 2004-й, уже не очень хорошо помню, но мэрия Еревана решила, что трамвай стал старше некуда и пора его отправить на пенсию. Собравшиеся в «круге» дедки схлестнулись в споре. Половина собравшихся говорила: разорили страну, вот и несчастные трамваи вместе с рельсами съели; другая: да и, мол, хорошо сделали, маршрутки работают — и хватит. «Возвращаясь из школы, будь осторожнее, берегись трамвая, и без того твой ранец больше и тяжелее тебя», — ставляла меня мать.

Теперь рельсов нет, хмурое лицо трамвая больше не пугает малышню. Присевшие в «круге» впритирку, как птицы на жёрдочке, таксисты направляют рентгеновские лучи взглядом в мою сторону, а я безропотно спускаюсь в пропасть, туда, где тянется бетонный «Тёщин язык» — очевидно, один из взлётов коммунистического модернизма. Предполагаю, архитектор во врождённую меру сил ненавидел свою непревзойдённую тещу, а я ненавижу это здание, которое, извиваясь, как змея, сожрало около тысячи едва сводящих в нём концы с концами жителей.

Антонио отдал Далу осколки, получив взамен инструмент, состоящий из двух движущихся ножек. — Это то, что подарит тебе бессмертие, сынок, — сказал Дал.

— Циркуль? Его тоже создал ты?

Дал унёсся мыслями далеко, сжал руку в кулак, но ничего не сказал. Чтобы прервать тишину, он предложил сесть у двери кузницы — послушать самую красивую и звонкую в мире музыку.

В задыхающейся кузнице яростный молот безжалостно бил по наковальне. Воздух звенел, и день ото дня растущему Антонио казалось, что весь мир — огромная кузница. Дал научил его избегать прямых линий, взамен показывая людям изгибы и разнообразные формы, щедро предложенные природой, — в виде зданий и мебели.

— Взгляни, сынок, морские волны бесчисленны, но ни одна из них не повторяет предыдущую. Забудь о прямых, ни о чём не говорящих линиях, учишься и твори.

— А зачем тебе осколки?

— Я не люблю, когда ты задаёшь мне вопросы, природа тоже не любит вопросов. Сынок, умеи

выделять голоса из шума, в пыли видеть то, что тебе нужно увидеть.

Малая родина в виде чертежей и книг поместилась у Антонио в чемодане и попала в одну из крохотных комнатшек студенческого общежития в большом городе.

В столице Каталонии рассветы окрашивались в лимонный цвет, воздух выдыхал гипнотический аромат рождающихся в местных открытых кафе обмакнутого в шоколад чуррос и арабики, днём город был апельсиновым и многообразным. На узеньких улочках, из квадратов стоящих друг против друга шестиэтажных зданий, появлялись женские руки, споро прикрепляющие партии стирки к бельевым верёвкам, студенты с пчелиным гулом вылетали из учебных заведений, широкие улицы города сменялись кривыми неосвещёнными переулками, аромат дорогого женского парфюма гасил-стирал реющий в воздухе солнечный запах стирки. Рядом со средневековой архитектурой появлялась готическая, затем классическая, неоклассическая — не мешая друг другу, как в театре не смущает соседство разнообразного большого и малого, старого и нового реквизита. Кованые железные ворота были здесь повсюду. Такие удавались и отцу Антонио, по которому юноша часто скучал.

Днём в ворота церкви Санта-Мария входили верующие, а на чёрном фоне ночи в районе красных фонарей алые женские туфельки на шпильках приглашали войти в ворота желающих выплеснуть во тьме густоту дня.

— Сынок, ты не грусти, настоящей любовью была не та, что покинула тебя.

— Опять ты, Дал? Зачем ты сюда пришёл? Уходи, ничего не хочу.

Молодой, но выглядящий как мужчина средних лет, Антонио крупными руками закрыл лицо, обрамлённое бородой-гирляндой цвета ржавчины. Плечи приподнялись и опустились, горчичного цвета пальто прильнуло ещё плотнее и как будто вызвало во всём теле саднящую боль.

— Сынок, настоящая любовь здесь, рядом с тобой. Ты — тот, кто одаривает любовью каждого из живущих тут. Нет неразделённой любви, Антонио, люди преходящи, а город будет жить твоей любовью ещё очень долгое время.

— Замолчи, — закричал Антонио, вскочил со ступенек, ударил ногой по оказавшемуся пред ним камню размером с кулак и, не оборачиваясь, зашагал вперёд.

— Арман, сейчас я выброшу телевизор, чёрт возьми, выключи, займись уроками.

Разносящийся из телевизора женский голос наконец смолкает, морковь отдаёт остаток тела скребку, ворчание Армана укладывается в строчки учебных тетрадей.

Включаю ноутбук. В дверь стучат:
— Хорошее постельное бельё, тебе дёшево отдам, сестрёнка.

Стоит закрыться двери, как Арман подсказывает:

— Лучше этого человека ты темы не найдёшь, мам, точно тебе говорю.

Одиссея путешествующего от двери к двери дешёвого постельного белья, быть может, и покажется многим исключительно злободневной и интересной. Мой продюсер— тридцатипятилетняя Наргиз, от яростного вопля которой готовы разбиться вдребезги стёкла всех окон ближайшего здания одновременно,— завтра снова позвонит. Услышав от меня: «Знаешь, мне нужно время на то, чтобы придумать тему»,— она закрывает так, что крикун Мунка закроет рот от страха.

Чем дальше Антонио шёл, тем больше взрослел, тем более зрелым становился, а телеграммы о смертях родных не заставляли себя ждать. После каждого придуманного им здания Дал дарил ему новый инструмент и один из керамических осколков, но советов больше не давал, поскольку в этом не было необходимости. Созданные Антонио здания были роскошны, бесподобны, они были застывшими морскими волнами, изогнутыми ветвями толстоствольного дерева, выглядывающими головами Монсеррата, дыханием ветра, теплом и светом солнца...

Дал из перьев делал для себя и для Антонио крылья на протяжении дней, месяцев. На протяжении месяцев, лет Антонио становился всё более известным, более неразговорчивым, религиозным. Часто забывал поесть, но молитву «Отче наш», как и в детстве, хранил на губах; забывал переодеться, но купить красные гвоздики и поставить их перед образом Богородицы не забывал. В мешочке Дала оставалось всё меньше осколков— всё больше становилось городских зданий. Та из женщин, что стала бы самой верной для Антонио, так и не нашлась, любви растворились в фиолетовом тумане сумерек, взамен город поверил и с распротёртыми объётами принял сегодня известного, вчера незнакомого, но подающего надежды студента, которому даже нагадали в годы учёбы, что он или гениален, или безумен.

Дал уже смастерил предназначенные для себя и Антонио крылья. Свои испробовал, а Антонио упрямылся.

— В этом возрасте? Ты мне родной, о чём говорить, но я,— указав пальцем вверх, сказал старик,— я подожду, пока позовут оттуда, взлечу, и в крыльях не будет необходимости, ты зря мучился.

Антонио объяснил, что строящийся сейчас и напоминающий песчаный замок храм будет

всеобщим молитвенным домом, что крылья есть у всех людей, и, если поверят и помолятся, полетят куда хотят и когда хотят. Дал обиделся, но попытался притвориться спокойным. Отдал ещё один осколок и сказал, что этот был последним.
— Пусть тогда станет лабиринтом: если разберутся, что ты придумал,— значит, войдут и помолятся,— заявил Дал, затем добавил, что его крыльям сегодня же найдётся работа, потому что он больше не хочет оставаться рядом с кем-то, кто не ценит его многолетний труд, и ушёл.

На следующий день утром Антонио, как обычно, вышел из дома, прошёл мимо скромных лавочек сапожников, портных и ювелиров; как всегда, купил три красные гвоздики у морщинистой черноглазой цветочницы, неспешно направился в сторону церкви.

Выйдя из церкви, старец Антонио, погружённый в свои мысли, переходил с улицы Жирона в сторону улицы Байлен. Он не заметил, что в этот день столица Каталонии торжествует; возможно, не узнал и о том, что протянутые посреди улицы две непереносимо прямые линии заставят его хоть раз в жизни обратить на них внимание. Идущий в направлении линий Антонио услышал голос с неба, это был Дал:

— Антонио, когда будешь лететь, не поднимайся к солнцу, слышишь?

В то время как Антонио поднял голову, чтобы взглянуть на Дала, откуда ни возьмись к нему подобрался трамвай цвета крови, словно лыжник, опирающийся на две прямые линии...

— Да, Наргиз, слушаешь? Вроде бы архитектура интересует тебя, так ведь? Ну, тогда не отключай телефон, читаю сценарий...

Месяцы спустя, в известном парке города, на ступеньки рядом с украшенным керамическими осколками хамелеоном присел высокий и худой юноша с большими глазами и напоминающими антенны длинными, устремлёнными в небо усами.

Через несколько минут будто с неба спустился и устроился рядом с ним плечистый и кудрявый мужчина. Юноша подскочил от страха, но мужчина успокоил:

— Здравствуй. Назовёшь своё имя?

— Сальвадор, а что?

— Я Дал, художник, занимаюсь ремёслами, строю и создаю что захочу. Ты изменишь цвет своего города, сынок...

Огни большого города²

С горизонтального положения смотрю вверх. Наверху мерцают звёзды. В школе пытались донести до наших маленьких умов, как можно найти Орион, Большую Медведицу, Стрелу, Лиру и другие созвездия, о которых сейчас и не вспомню; но вдруг на ум приходит Малая Медведица— её легко можно

было найти по характерной форме ковша. Сейчас сверкающие у меня над изголовьем небесные светила—фосфорные звёзды, собственноручно приклеенные к потолку хозяином квартиры—мудрым евреем. При мысли о звёздном ковше параллельно вспоминаю историю «бумажного черпака»³. Она имеет свойство повторяться, как самовращающаяся мелодия из шарманки, оказываясь из раза в раз в руках нового исполнителя. Ловлю слёзы кончиком языка, помня, что это дело бессмысленное и неблагодарное, ведь этот город—слезам не верит...

День начинается, день заканчивается—стремительно, ничуть не подлаживаясь под твой внутренний ритм, твой бег, твои желания и нужды. Отец постоянно звонит знакомым армянам, знакомым знакомых армян и их знакомым. Работа жалует лишь ищущих. Сын каждую ночь направляет в небо игрушечный телескоп.

—Мам, как только упадёт звезда—мы станем счастливыми.

—Солнышко моё, мы и сейчас счастливы.

—Нет, мама... если упадёт звезда, то исполнится *моя мечта*, и мы уедем домой, в Ереван.

Мама шерстит сайты объявлений о работе. Брат собственными нервонитями строчит бесконечно скапливающиеся на столе Дома быта блузки и брюки.

День пятый, десятый, пятнадцатый, сороковой. Отец пошёл освещать московские здания, мама нашла просвет в своей горестной жизни в стенах кондитерской «Сладкая жизнь». Брат сегодня вернулся с работы немного печальный, но—счастливый. Получил первую зарплату. Во фруктово-овощном ларьке азербайджанца купил армянские абрикосы. Я ем и плачу. Сын просит деда закопать абрикосовые косточки в землю во дворе дома, чтоб рядом с рябинами выросли абрикосовые деревья. Всхлипываю, тихо напевая под нос грустные народные песни, а на подоконнике, между уместившимся в глиняном горшке «денежным деревом» и цветущей орхидеей, печально улыбается примостившаяся на маленькой деревянной досочке Матрона, надписью подсказывая: «Да любите друг друга»...

Ночь. Все спят. Небо покрыто тёмной бархатной завесой. Я снова поднимаю голову. Фосфорные звёзды смотрят на меня жёлто-зелёными глазами. Пытаюсь мысленно воспроизвести Орион. В старину армяне называли его созвездием Айка—по имени нашего наречённого пращура...

Сигареты с ментолом⁴

Было солнечно. Я вышла на улицу, думая, что можно немного прогуляться, прежде чем пойду к Марине, однако солнце тут всегда обманчиво, и часто сияющему солнышку внезапно приходит на смену нахальный хохот проливного дождя.

Всего пару минут назад казалось, что всё на своих местах: немигающие деревья, неподвижно висящие посреди двора качели, безмолвно сидящие у подъезда бабушки, время от времени машинально рассыпающие перед бесстыжими, ненасытными голубями сухие хлебные крошки. Напоминающая отвисший зев паралитика туча наконец разверзлась, и улица вдруг крупными глотками испила дождя.

Я, с самозабвением Нарцисса, на секунду замерла, опустила голову, ища в дождевой воде свой мокрый портрет, однако отпечаток крохотной ножки спешащего домой маленького шалуна одним ударом по моему отражению вмиг заставил меня ускорить шаг и отправиться к симпатичному, но одновременно пугающему киоску Марины, куда по просьбе брата я зачастую захожу за сигаретами. В одной части тесного пространства в два шага располагаются бутылки с пивом, в другой части—коробки сигарет. Аккурат в центре киоска сидит миниатюрная продавщица—с демонической улыбкой, с горящими, как угли, глазами,—которую я часто в шутку называю Мораной, что ничуть не расстраивает её, а скорее забавляет.

—Ты в хороших отношениях со смертью, правда? —Сомневаешься? Тебя снова брат за сигаретами послал?

Она уже готова достать из ящика коробочку, но я говорю, что на этот раз сигареты понадобились мне и я даже не знаю, что выбрать.

Я внимательно изучаю коробочки, и вдруг мой взгляд привлекает надпись «Эссе».

«Лучший вариант для писателя»,—думаю я и прошу дать мне именно эти сигареты, желательно с ментолом.

—Значит, хочешь с кнопочкой?

Заметив моё замешательство, Марина ставит на стол коробочку и объясняет, как нажать на кнопку и привести в действие капсулу. Меня всё это привлекает, однако прошу заменить сигареты на другие, потому как гангренозная картинка на

3. «Бумажный черпак»—1 июня 1878 года в Берлине начался конгресс, который шёл по сценарию Великобритании. Участники форума, не внявшие просьбам Хримяна, не допустили армянскую делегацию к участию в конгрессе. В Берлине 16-й пункт Сан-Стефанского договора, гарантировавший армянам различного рода права, переместился на 61-е место, после чего армянский вопрос был предан забвению. 1 июля, в последний день конгресса, Мкртич Хримян и Минас Чераз направили послание великим державам. Известны слова Хримяна, где он сравнил конгресс с поеданием харисы. Хримян с юмором подчеркнул, что у великих держав есть железные черпаки, которыми они могли легко брать причитающееся им, а он, в отличие от них, не смог взять свою долю ввиду того, что у него был бумажный черпак, оставшийся в харисе.

4. Перевод с армянского Анны Варданян.

коробке вызывает у меня тошноту, неприятное зрелище...

— К сожалению, запрещено курить без таких прекрасных картинок. Все дороги проходят через мой магазинчик, ты особо не беспокойся.

Мы выходим из магазина, чтоб вместе сделать маленький, но верный шаг навстречу неизбежному. — То, что нас не убивает, заставляет купить ещё одну пачку сигарет и попытаться снова,— пытаются шутить Марина и неожиданно всхлипывает.

Хозяйка квартиры выселила её за неуплату, любовник резво нашёл другую (не оставаться же ему на улице), хозяин магазина, дагестанец, предупредил, что если она ещё раз воспользуется напитками из киоска, то вылетит с работы, как пробка от шампанского.

— Знаешь, сегодня мне стукнуло сорок. Давай пропустим по стаканчику, я угощаю... Хозяин не узнает, а если узнает—плевать! Найду другое место, мне пофиг, всё равно моя жизнь состоит из бухла и сигарет. Смотри-ка, я нашла своё место в этой жизни! Э-э-эх... А ведь было время, когда мне казалось, что я знаю, кто я и что меня ожидает. Как ты меня называешь? Морана?

— Да, это богиня смерти. По большому счёту, я правильно к тебе обращаюсь. Но ты особо не пользуйся своим служебным положением, пить

тебе ни к чему,—пытаюсь как-то её утешить и глубоко затягиваюсь ментоловой сигаретой.

— Мы друг друга никогда не поймём,—пускает мне дым в лицо Марина.

Взгляд у неё холодный, равнодушный.

— Я такая же эмигрантка, как и ты. Зря ты так говоришь,—пытаюсь оправдаться я.

— На этой заблудшей планете мы все—эмигранты. Жаль, что не все об этом знают. Когда-то у меня была однокомнатная квартира, собственная однокомнатная квартира в центре Донецка и класс из тридцати двух учеников! А теперь я живу в этой железной коробке, где даже туалета нет. Я—вне времени. Здорово, правда? И, кажется, мне пора выпить, извини.

Марина затушила сигарету, повернулась ко мне, выпалила:

— Да пошли вы все на х...!—и зашла в киоск.

Я, пытаюсь не смотреть на картинку, достала из коробки ещё одну сигарету, с силой надавила на затаившуюся внутри капсулу и глубоко вдохнула рассеявшийся по сигарете ментол, разделяя боль всех одиноких, но сильных женщин мира.

После дождя небо прояснилось, но солнца всё равно не видно. Вместо солнца сияют белокурые головы женщин, а между пальцами у них алеет огонёк сигарет-маяков...